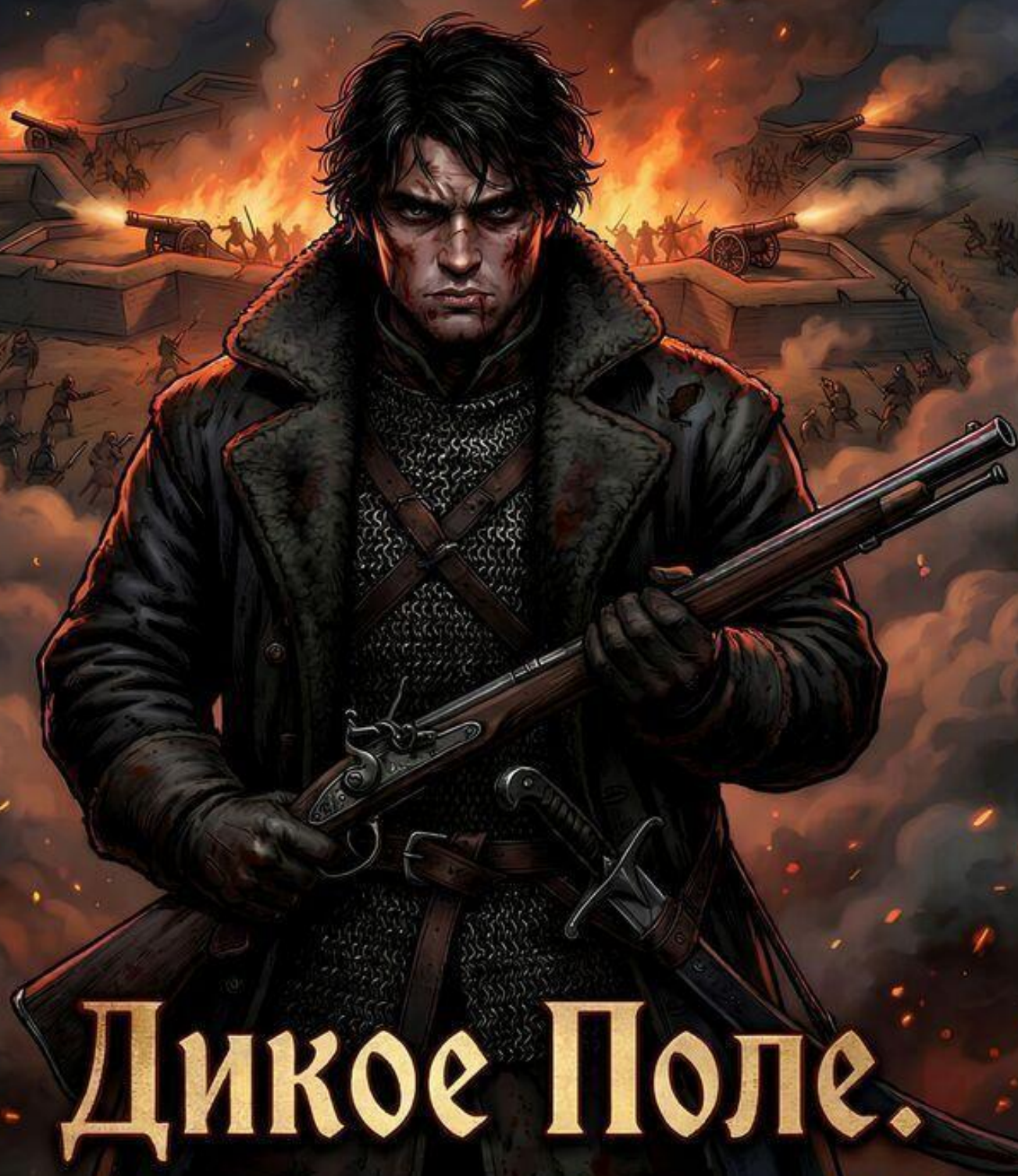


18+ Дмитрий Варяжек
Знаткий



Дикое Поле.
Тень Грозного и Хозяин Юга

Дмитрий Варяжек

**Дикое поле. Тень
Грозного и Хозяин Юга**

«Издательские решения»

Варяжек Д.

Дикое поле. Тень Грозного и Хозяин Юга / Д. Варяжек —
«Издательские решения»,

Продолжение истории Фрола Черного, оправдаются ли его опасения?
Сможет ли он противостоять натиску сразу с нескольких направлений?
И как влиться в «большую игру» с минимальными потерями. Книга содержит
нецензурную брань.

Содержание

Дикое поле. Тень Грозного	6
Глава 1. Пепел победителей	6
Глава 2. Тракт, девки и грязь Столицы	17
Глава 3. Сделка с психопатом: Палата №6	25
Глава 4. Нижний Дон	32
Конец ознакомительного фрагмента.	38

Дикое поле. Тень Грозного и Хозяин Юга

Дмитрий Варяжек

© Дмитрий Варяжек, 2026

ISBN 978-5-0069-9840-7

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Дикое поле. Тень Грозного

Часть 1

Глава 1. Пепел победителей

В ваших школьных учебниках пишут гладко. Пишут красиво и величественно: «Октябрь тысяча пятьсот пятьдесят второго года. Войска Ивана Грозного взяли Казань. Конец трехвековому противостоянию. Русское Царство приросло великими землями».

Читаешь такое — и перед глазами встают гордые витязи в начищенных доспехах, которые вытирают мечи шелковыми платками, пьют вино из татарских кубков и едут домой к женам.

Хрен там. История — дама лживая, и косметики на ней больше, чем на портовой девке.

Взять столицу — это только разворошить осиное гнездо. Когда мы обрушили стену и ворвались в город, мы перебили нукеров, сожгли дворцы и захватили казну хана Едигера. Но мы не смогли убить саму идею. Обычные татары, черемисы (марийцы), чувашаи, мордва — все они никуда не делись. Они взяли свои луки, посадили баб на телеги и ушли. Ушли в бескрайние, непролазные леса на левом и правом берегах Волги.

И началась такая партизанщина, что любой Вьетнам или Афган показались бы детским утренником. В историю это войдет как Черемисская война. А для нас, донцов, которые по дурости (или по жадности тысяцкого Степана) задержались на царской службе, это обернулось зимним, вязким, кровавым адом.

Шел январь тысяча пятьсот пятьдесят третьего года.

Зима в Поволжье выдалась лютая. Снега навалило по пояс коням. Лес стоял мертвый, промерзший до звона, но в этой мертвечине таилась смерть. Конный казачий строй здесь был полезен так же, как вилка при поедании супа. Ты не можешь рубить саблей, когда ветки хлещут по лицу, а конь вязнет в сугробах. Зато татарская стрела с костяным кутасом, выпущенная невидимым охотником из-за толстой сосны, находила цель безотказно.

Я сидел у чудовищно дымящего костра в нашем временном лагере-засеке, в полусотне верст севернее сгоревшей Казани. Глаза слезились от едкого дыма сырой осины, но отходить было нельзя — мороз вытягивал тепло даже через толстый бараньей тулуп.

Мне шел семнадцатый год. За прошедшие месяцы я похудел так, что скулы заострились, как лезвия моих хазарских ножей, а глаза запали. Донская степь, прожаренная солнцем, казалась теперь несбыточным раем.

Рядом, стаскивая промерзшие ичиги (сапоги), матерился сквозь зубы Сашка.

— Выкурить их надо, гнид лесных, — зло сопел он, растирая побелевшие от холода пальцы ног. — Али спалить тут все к едреней фене. Вчерась Матвеев десяток в Арский лес

сунулся — четырех седоков пустых лошади обратно принесли. Словно сквозь землю провалились татары.

— Выкурить лес размером с три Рязанских княжества? Удачи, Александр, — криво усмехнулся я, подкидывая ветку в огонь. — Они здесь родились. Они знают каждую звериную тропу. А мы для них — жирные, слепые медведи.

Степан, наш тысяцкий, сидел напротив, хмуро ковыряясь кинжалом в куске мерзлой солонины. Он сильно постарел. Слава, добытая в проломе Казани, потускнела. Московские воеводы, командующие карательными отрядами, требовали от донцов результатов, а конница в сугробах могла только дохнуть от бескормицы да терять людей от партизанских стрел.

— И чаво удумал, Черный? — прогудел Степан, не поднимая глаз. Он уже привык, что я не просто лекарь и варитель зелья. В делах тактических мой голос весил немногим меньше его собственного. — В лагере сидеть, покада нас всех поодиночке не перебьют?

— Я удумал перестать быть медведями, дядька Степан, — я поднялся, отряхнул тулуп. — Мы пытаемся воевать с ними, как в чистом поле. Так мы только людей погубим. Лес не любит шума. Лес любит по-пластунски. Змеей.

Это слово — по-пластунски — я притащил в их словарь специально. В будущем пластунами назовут пеших казаков-разведчиков на Кубани, но я решил не ждать пару столетий. Концепция спецназа была нужна мне прямо сейчас.

— Я отберу три десятка молодых, — жестко, не прося, а ставя перед фактом, сказал я тысяцкому. — Тех, кто не обременен пузом и привычкой орать «Любо!» перед каждым заматом. Мы оставим коней здесь. Оставим тяжелые бахтерцы. Возьмем только пищали, мое зелье, луки и ножи.

— Пешими в лес? На верную смерть? — возмутился Матвей, старый рубака, потерявший вчера своих людей. — Ты, Фрол, может, и заговоренный, а пацанята-то из мяса сделаны!

— Если они останутся на конях — они точно станут мясом, — я смерил Матвея тяжелым взглядом. — Я научу их двигаться так, как учил меня Архип. Мы не будем воевать с их отрядами. Мы будем находить их лесные лежки, зимовья, схроны. И резать их спящими. А там, где не сможем дотянуться ножом, — я постучал по своей кожаной фляге с порохом, — там оставим им подарок.

Степан долго жевал губами. Взвешивал. Терять молодежь ему не хотелось, но терять лицо перед московскими воеводами было еще хуже. Да и репутация моя работала на меня.

— Три десятка, говоришь? — наконец выдавил он. — Бери добровольцев. Токмо если положишь их там, Фролка... я тебя сам на березе вздерну, невзирая на всю твою бесовщину.

— Не положишь, — спокойно ответил я. Повернулся к Сашке, который уже натягивал влажные сапоги обратно, поняв, к чему идет дело. — Собирай людей, Александр. Тех, у кого кровь горячая, а шаг тихий. Завтра на рассвете уходим.

Формирование первого в истории донского «спецназа» заняло один вечер. Желающих было много — сидеть в осадном сидении всем осточертело, а слава пойти с самим Фролом

Черным, которого пули облетают (так считали в сотне после взрыва башни), манила молодых сорвиголов.

Я отобрал тридцать два человека. Сашка и Митька шли первыми моими заместителями. Из заметных парней взял Илью — здорового детину, способного руками гнуть подковы, и Ермака.

Да, того самого Ермака. Ему было лет двадцать с небольшим, он был широкоплеч, коренаст, с густой русой бородой и глазами, в которых плескалась такая бешеная, нерастроченная первобытная энергия, что даже мне становилось не по себе. Тимофеевич тогда еще не был легендой покорителя Сибири, он был просто одним из самых безбашенных и удачливых рубак в нашей войске. Мы часто сталкивались взглядами, и в этих взглядах читалось взаимное уважение двух хищников. Но я уже тогда понимал: если этот медведь не найдет себе отдельную тайгу на востоке, нам с ним на одном Дону будет чертовски тесно. Слишком много амбиций на два квадратных метра.

— Слушать сюда, — негромко сказал я, собрав свой отряд на окраине лагеря. Морозный пар вырывался изо рта. — Вы оставляете всё, что бренчит, звенит и блестит. Кресты под рубахи спрятать, чтоб не стучали о грудину. Ножны обмотать тряпьем. Снег под ногами не должен хрустеть — вяжите на сапоги еловый лапник и шерсть.

Я прошелся вдоль строя. Их лица, грязные, обмороженные, возбужденные, смотрели на меня с фанатичной преданностью.

— В лесу мы общаемся только знаками. Я покажу десяток движений рукой на пальцах — выучите их до вечера как Отче Наш. Заговорите без моего приказа — я лично вырву вам кадыки, чтобы татары не слышали.

Ермак ухмыльнулся, поглаживая древко своей укороченной рогатины.

— Жестко стелешь, Фрол Еромолаич. А ну как татары нас первыми срисуют?

— Я для того с вами и иду, Тимофеевич, чтобы не срисовали, — я остановился напротив будущего покорителя Сибири и посмотрел ему прямо в глаза. Я чуть-чуть, едва заметно, толкнул его своим «морозом», заставив ощутить холодный, липкий сдвиг реальности. Ухмылка Ермака сползла, он нервно сглотнул, но взгляда не отвел. Крепкий мужик.

— Я буду вашими глазами. А вы — моими ножами. Уяснили?

— Уяснили! — глухо, не в голос, ответил строй.

На рассвете мы нырнули в мертвое, заснеженное море Арского леса.

Передвижение по зимней тайге — это пытка. Мы шли колонной по одному, ступая след в след. Я шел впереди. Эмпатия работала на полную мощность, заменяя мне и компас, и тепловизор. Я сканировал пространство впереди на предмет чужих жизней, чувствуя, как холодный зимний воздух обжигает легкие.

Медленно и плавно я «отводил глаза» своему отряду. Это было самой сложной задачей. Накрыть мороком невидимости тридцать человек невозможно — у меня бы лопнули сосуды в мозгу через пять минут. Я делал иначе. Я накладывал иллюзию не на нас, а на сам лес вокруг нас.

Я заставлял пространство в умах случайных наблюдателей казаться неподвижным, смазывая наши силуэты до состояния колеблющихся на ветру теней.

На третий день рейда мы нашли их.

Сначала я почувствовал слабый, еле уловимый запах жженого козьего кизяка и вяленой рыбы. Потом внутренний «радар» поймал пульсацию жизней. Много жизней. Полсотни, не меньше.

Я поднял сжатый кулак. Отряд позади меня замер, превратившись в статуи из снега и тулупов.

Я показал два пальца на глаза, затем указал вперед и растопырил кисть — вижу врага, много, впереди. Сашка понял, передал знак назад.

Мы залегли в снегу, сбившись в цепь. Я пополз вперед один, сливаясь с сугробом.

Через сотню шагов лес расступился, открывая небольшую замерзшую балку. На дне, наполовину засыпанные снегом, ютились с десятков землянок. Это была зимняя лежка черемисов (марийцев) и татар, ушедших в партизаны. Обычные люди, озлобленные, лишившиеся домов, они превратились в безжалостных зверей защиты.

Вокруг поселения ходили дозорные с натянутыми луками. Собаки, худые и злые, жались к редким, притушенным кострам. Если собаки нас учуют — поднимется лай.

Я отполз назад к своим.

— Пять десятков, — одними губами прошептал я Ермаку, Сашке и Митьке, собрав их головы вместе. — Есть бабы, но мало. В основном мужики. Собаки на стреме.

— Из пицалей сверху дать? — предложил Митька, поглаживая замок оружия.

— Нельзя, — помотал головой Ермак. — Первым залпом положим десяток. Остальные в лес порскнут, как мыши, а потом нас же на обратном пути перещелкают. Надо брать в кольцо и резать сонных.

— Собаки не дадут, — я покачал головой. — Нам нужно отвлечь их. Я использую зелье. Сделаю фугас на той стороне балки. Когда рванет — они все кинутся туда. Вы спускаетесь с этой стороны и бьете в спину. Тихо. Ножам. Илюха и еще пятеро — пусть режут тех, кто выскочит из землянок.

План был рискованным. Но в войне спецназа надежность — удел трусов.

Я взял у Сашки лишнюю флягу со своим зерненым порохом, сунул за пазуху и пополз в обход балки. Морок работал на пределе. Я заставлял собак, которые нервно водили носами, чувствовать запах старой, мертвой лисицы, а дозорных — видеть пустую снежную поляну.

Мокрый снег набивался в рукава, пальцы немели, несмотря на заговоренную кровь. Я добрался до противоположного склона. Зарыл кожаную флягу в сугроб прямо под корнями старой, сухой сосны, которая нависала над крайними землянками повстанцев. Вставил длинный фитиль.

Чиркнул кремнем под полую тулупа, чтобы не заметили искру. Поджег.

Теперь у меня было ровно две минуты, чтобы убраться.

Я рванул вверх по склону, перебирая ногами и руками как паук, уже не заботясь о бесшумности. Дозорный, стоявший внизу, уловил движение, вскинул лук...

Шарахнуло так, что с деревьев посыпались тонны снега, образуя искусственную метель.

Мой зерненный порох, спрессованный под корнями, разнес основание мертвой сосны в щепки. Огромное, многотонное дерево со скрипом, переходящим в оглушительный треск, рухнуло прямо на крайнюю землянку, давя тех, кто был внутри.

Грохот взрыва и крипы проснувшихся татар слились в единый вопль.

Те, кто уцелел, с дикими криками бросились к месту завала, хватаясь за сабли и топоры. Собаки зашлись в истеричном лае.

И с противоположного склона, из белой мглы искусственно поднятой метели, как демоны лесоповала, бесшумно скатились мои пластуны.

Это был даже не бой. Это была хирургическая операция по удалению опухоли.

Широкий замах Ермака, и голова татарского лучника покатилась в снег. Илья, орудуя тяжелой кистенем, с одного маха проломил грудную клетку выскочившему навстречу защитнику. Сашка и Митька работали парно — один бьет с отвлечением, второй порет печень.

Они двигались именно так, как я их учил. Без крика «ура», без бравады. Быстро. Жестоко. В полной тишине.

Я скатился со своего склона, на ходу выхватывая хазарский булат. Разум переключился в режим мясника. Я не чувствовал холода, только горячую пульсацию крови.

Татарин в лисьем малахае бросился на меня с тяжелой пешней (копьем для рубки льда). Я не стал уклоняться или рубить древко — железо было слишком тяжелым. Я ударил мороком ослепления, всего на долю секунды перерезав ему зрительный нерв. Он моргнул, запнулся, и мой короткий клинок вошел ему точно под челюсть, выходя через затылок. Кровь фонтаном брызнула на белый снег.

Мы закончили за пятнадцать минут.

Ни один из повстанцев не ушел. Землянки полыхали, подожженные от рухнувшего костра. Снег на дне балки был красным, словно его покрасили из гигантской кисти.

Я стоял, тяжело дыша, и оглядывал своих людей. Почти все целы. Пара легких сабельных порезов, один сломанный палец у Ильи.

Сашка, вытирая нож о тулуп убитого, посмотрел на меня. В его взгляде больше не было того мальчишеского восхищения. Там стоял холодный, профессиональный расчет палача.

— Хорошо прошли, Фрол Ермолаич, — выдохнул Ермак, опираясь на рогатину. Сибирь пока еще спала спокойно, но ее будущий хозяин уже залил татарской кровью в леса Казани. — Как волки по овчарне.

Я кивнул, сплевывая горькую слюну адреналина.

— Привыкайте, братцы. Теперь это наш метод. Никаких красивых лав. Только удар из темноты.

Это был наш первый рейд, после которого татары начали шептаться о «снежных шайтанах». Мы заложили традицию русского пластунства — грязного, тяжелого, но самого эффективного вида войны в таких условиях.

Но моя лесная герилья длилась недолго. Судьбе было угодно, чтобы Фрол Черный стал не просто командиром диверсантов. Силы, управляющие этим миром (и я имею в виду не только Бога), подготовили мне сцену куда масштабнее, чем заснеженный овраг. И сцена эта находилась в Москве.

Следующие два месяца слились для меня в единую, липкую карусель из заснеженных оврагов, сизого дыма от горящих сосен и мерзлого железа, которое прилипало к рукам, если снять рукавицу.

Наш отряд, прозванный среди донцов «черной ватагой», превратился в самый жуткий кошмар для татарского сопротивления в Арских лесах. Мы не брали пленных — тащить ясырь по сугробам было абсурдно. Мы не грабили — добычу мы забирали только ту, что можно было съесть или обменять на порох. Нашей главной задачей был террор. Мой, лично выверенный, ледяной террор.

Я учил своих ребят работать синхронно с моим даром. Я не мог накрыть их всех невидимостью, но я мог, например, внушить дозорным врага звуковую галлюцинацию — треск ломающихся веток или вой волков с противоположного направления. Пока татары вглядывались в мнимую опасность, Ермак и Сашка беззвучно вырезали их секреты (наблюдательные посты), открывая нам дорогу на основную лежку.

Это был идеальный симбиоз магии, психологии и грубой мужичьей силы.

К концу февраля мы начали выдыхаться. Люди — не машины. Постоянный холод, недоедание и нервное напряжение, когда ты ждешь стрелу из-за любого куста, подтачивали даже таких заговоренных отморожков, как мои пластуны.

В один из дней, когда метель мела так, что не было видно вытянутой руки, мы нарвались на засаду.

Это случилось у замерзшего брода безымянной речушки. Татары, видимо, просчитали наш маршрут отхода после очередной сожженной деревни. Они не стали прятаться в лесу — они зарылись в снег прямо на льду реки с аркебузами, купленными у турецких контрабандистов.

Первый залп прошел нашу цепь, когда мы были на середине брода.

Митька, шедший слева от меня, вдруг коротко охнул, крутанулся на месте и упал лицом в сугроб. Пуля снесла ему половину шапки, вскользь пройдя по черепу.

— Врассыпную! За торосы! — заорал я, перекрывая вой ветра.

Мы залегли за вздыбленным льдом. Татары вели плотный огонь. Их свинцовые шарики шлепались в лед, осыпая нас ледяной крошкой.

Я высунулся, чтобы оценить обстановку. Их было человек двадцать. Хорошо окопались. Если мы попытаемся перебежать остаток реки — нас перестреляют как куропаток.

«Время менять правила», — подумал я.

Я закрыл глаза, собирая всю свою энергию в упругий, вибрирующий ком. Я собирался ударить массовым мороком — тем самым, который заставил ногайцев в балке увидеть конницу. Но здесь цель была другой.

Я начал транслировать смерть. Не страх, а именно физическое ощущение удушья, ледяного холода в груди и остановки сердца. Я проталкивал эту иллюзию прямо в их перепуганные умы, заставляя их верить, что их тела уже мертвы.

Это был чудовищный перерасход энергии. В висках застучали молоты, из левой ноздри на снег упала густая, красная капля.

Огонь с той стороны начал стихать. Я чувствовал, как огоньки жизней татар начинают метаться, их руки слабеют, роняя тяжелые фитильные ружья. Некоторые пытались сорвать с себя теплые халаты, задыхаясь от мнимой нехватки воздуха.

— Ермак! Давай! — прохрипел я, не прерывая трансляции.

Тимофеевич не задавал вопросов. Он выскочил из-за ледяного тороса, как огромный бурый медведь, и с диким рыком понесся по льду, размахивая своей укороченной рогатиной. За ним рванул Сашка и остальные.

Татары, скованные мороком ложной смерти, не смогли оказать сопротивления. Пластуны добежали до их укрытий и начали методичную, кровавую работу.

И тут моя концентрация дала сбой.

Один из татарских стрелков, видимо, оказался невосприимчивым к моей магии. Он был глуховат (частое явление у стрелком) или просто имел сильную волю. Он вскинул свою аркебузу, когда я уже поднялся на ноги, готовый присоединиться к рубке.

Я увидел вспышку фитиля.

Инстинкт заставил меня дернуться влево, но свинцовая пуля, выпущенная с тридцати шагов, была быстрее.

Удар был таким, словно в бок мне воткнули раскаленный лом, к которому привязали кувалду. Меня отшвырнуло назад, и я с размаху приложился затылком об лед. Морок спал.

Сквозь звон в ушах я слышал, как Ермак дико взревел, и увидел, как его рогатина пронзила стрелка насквозь.

Я попытался сесть. Дышать было нечем. Правый бок онемел, а по штанам растекалось что-то липкое и горячее.

Ко мне подскочил Сашка. Лицо перепачкано чужой кровью, глаза безумные.

— Фрол!! Фрол Ермолаич!! Ты живой, братка?! — орал он, сдирая с меня тулуп.

Он рванул мою рубаху. Прямо над броней бахтерца, который я не успел подвязать, зияла рваная, страшная дыра. Свинец, расплющившись о ребро, вырвал кусок мяса размером с кулак и застрял где-то внутри. Кровь хлестала так, что снег вокруг меня начал стремительно краснеть на глазах.

Вокруг сгрудились остальные пластуны. Митька, пришедший в сознание с окровавленной головой, стоял рядом, хватая ртом воздух. Они смотрели на меня — своего командира, полубога, шайтана — и видели, что я сейчас сдохну. Как обычный кусок мяса.

«Хрен там, — подумал я. — Не для того я тут грязь месил».

Я вспомнил Архипа. Вспомнил ту темную землянку и его засапожный нож. Кровь — это река. А я ее плотина.

— Назад! — прохрипел я, отталкивая Сашкины руки, которые пытались зажать рану грязной тряпкой. — Не трожь!

Я лег на спину, прямо на окровавленный лед, закрыл глаза и отрезал себя от внешнего мира.

Я погрузился внутрь своего тела. Боль была чудовищной, пульсирующей, рвущей сознание на куски. Я визуализировал свою печень, легкое (пуля прошла чудом мимо него), развороченные мышцы и порванные сосуды.

Я гнал туда свою волю. Густую, черную, ледяную энергию морока. «Сожмись. Застынь. Стань камнем».

Я чувствовал, как мелкие артерии пытаются этому сопротивляться инстинктивно реагируя на выброс адреналина, расширяясь. Я давил их. Силой мысли я создавал ментальный жгут вокруг поврежденных тканей, заставляя тромбоциты слипаться с нереальной скоростью.

Я услышал, как над мной сдавленно выдохнул Илья.

Я открыл глаза.

Кровь больше не текла. Рана, еще секунду назад представлявшая собой кровавый фонтан, покрылась толстым, почти черным струпом. Он пульсировал в такт сердцу, но держал напор.

Сашка сидел на коленях, широко открыв рот, и мелко крестился. Ермак стоял над нами, оперевшись на свое древко, и его обычно насмешливые глаза сейчас выражали глубокий, суеверный ужас.

Они видели во мне знахаря. Видели хитрого стратега. Но сейчас они увидели настоящую, демоническую магию — человек силой мысли остановил кровотечение, которое убило бы быка за три минуты.

— Живучий ты, Фрол, — тихо, очень тихо сказал Ермак, уважительно склонив голову. — Как кошка девятижилая.

— Волокушу делайте... из копий, — прохрипел я, чувствуя, как сознание уплывает от потери крови. — И пулю... доставать надо. В лагере. Сами вырежете.

Обратный путь в наш стан я помню обрывками. Волокуша подскакивала на сугробах, отзываясь в боку тупой агонией. Заговор на кровь держался на моем подсознании, требуя огромных ресурсов.

К полуночи мы ввалились в лагерь донцов.

Степан, увидев меня на волокуше, побледнел.

— Лекаря! — рявкнул он, расталкивая казаков.

— Никаких... лекарей церковных, — я схватил тысяцкого за рукав зипуна слабеющими пальцами. — Свои всё сделают. Сашка... нож коли на огне... Кипяток... Спиртом залейте. И ковырай.

Операция была адской.

Меня положили на стол в командирском шатре. Напоили первачом до полусмерти — это был мой единственный наркоз, да и тот скорее для того, чтобы у меня сердце от шока не встало.

Сашка, бледный как смерть, орудовал моим же кинжалом, предварительно прокипяченным по моей инструкции. Я лежал, вцепившись зубами в ремень, и пытался не упустить контроль над кровотечением. Если бы я расслабился — я бы истек кровью быстрее, чем Сашка нашел бы пулю.

Когда расплющенный кусок свинца со стуком упал в медный таз, я провалился в темноту.

Я очнулся через неделю. Зима уже отступала, уступая место промозглому мартовскому ветру.

Я лежал на топчане. Рана чесалась — признак нечеловечески быстрого, магического заживления, заложенного Архиповым «заговором». Рядом сидел Сашка, строгая какую-то деревяшку.

— Очнулся, Фрол Ермолаич, — Сашка просиял, увидев мои открытые глаза. — Слава те, Господи! А мы уж думали дубовую домовину тебе строгать.

— Не дождетесь, — сипло ответил я, пытаюсь приподняться. Тело было как ватное, но слабость была обычной, физической. Магического истощения не чувствовалось. — Как дела в лесу?

— Тихо в лесу, — Сашка усмехнулся. — Как мы ту банду положили на реке, черемисы как сквозь землю провалились. Вглубь ушли. Наши воеводы отчитываются об усмирении.

В шатер ворвался холодный ветер. Ткань откинулась, и внутрь шагнул тысяцкий Степан. За его спиной маячила фигура человека, одетого не по-зимнему, а в легкий дорожный, изгвазданный грязью кафтан. Гонец.

— Вставай, Фрол, — хмуро бросил Степан, останавливаясь у топчана. — Если ноги держат.

Я с трудом сел, придерживая замотанный чистыми холстами бок.

— Кто это, дядько Степан? — я кивнул на гонца. Тот смотрел на меня испуганно, явно наслышанный о моей «колдовской» репутации.

— Это от Размысла нашего... от Эразма, царского угодника, — тысяцкий снял шапку и перекрестился на икону в углу.

Степан повернулся ко мне, и в его глазах читалась неподдельная тревога:

— Знамо дело, в Москву тебя кличут, Фрол. Царь-батюшка, Иван Васильевич... при смерти лежит. Горячка огненная его бьет. Попы отпевают, бояре меж собой глотки грызут, казну делят. Вспомнили там, как ты Шуйскому кровь заговаривал да из могилы его достал. Велят тебя доставить, хоть живым, хоть мертвым.

Степан тяжело вздохнул.

— Собирайся, Черный. Поедешь в само пекло. Ежели царя не спасешь — тебя попы на площади сожгут. А ежели спасешь... — старый вояка покачал головой, — ...даже не знаю, что хуже обернется.

Я посмотрел на свои худые, перепачканные запекшейся кровью руки.

История, которую я знал из книг, пришла в движение. Иван Грозный умирал от болезни, во время которой бояре отказались присягать его сыну-младенцу. Это событие сломает царю психику и станет предтечей Опричнины.

И только от меня, попаданца-лекаря из двадцать первого века, зависело, выживет ли этот безумный хищник.

Я откинул одеяло и спустил ноги на холодный пол.

— Седлай мне коня, Александр, — спокойно приказал я, игнорируя боль в простреленном боку. — Едем в Москву. Пора провести прием у пациента номер один.

Глава 2. Тракт, девки и грязь Столицы

Вы, привыкшие к самолетам, поездам и мягким сиденьям в авто, даже представить себе не можете, что такое дорога в шестнадцатом веке. Особенно весной. Особенно в России.

Расстояния здесь меряют не километрами, а отбитыми задницами, загнанными лошадьми и количеством сломанных тележных осей.

От Казани до Москвы лежал старый, набитый веками тракт. Царь Иван Васильевич, надо отдать ему должное, систему связи наладил жестко. Через каждые тридцать-сорок верст стояли ямские дворы. Показываешь ямщику подорожную грамоту с красной сургучной печатью — и он, матерясь и поминая всех святых, обязан выдать тебе свежих лошадей, даже если ради этого придется снять их с сохи.

Мы с Сашкой летели галопом, меняя взмыленных, хрипящих коней на ямах. С нами ехал тот самый бледный царский гонец, но уже на второй день он безнадежно отстал — его нежное столичное седалище не выдержало казачьего темпа. Мы бросили его на станции под Муромом, забрав царскую грамоту.

Конец марта щедро поливал нас ледяным дождем вперемешку со снегом. Начиналась распутица. Дорога превратилась в непролазную, чавкающую черно-бурую жижу, в которой лошади вязли по бабки.

Мой простреленный бок горел глухим, пульсирующим огнем. Каждое движение лошади отдавалось в ребрах тупой болью. Магия Архипа, «заговор на кровь», держала рану закрытой, ткани срастались с неестественной скоростью, но я не был терминатором из жидкого металла. Я был семнадцатилетним парнем, чье тело тратило колоссальные ресурсы на то, чтобы просто не сдохнуть от сепсиса в седле.

К вечеру пятого дня мы добрались до окраин Владимира. Лошади едва переставляли ноги, роняя клочья пены на грязный снег.

— Всё, Фрол Ермолаич, — прохрипел Сашка, вытирая мокрое от дождя лицо. — Кони встанут. И мы вместе с ними. Ночевать надо.

Я кивнул. Впереди, сквозь густеющие сумерки, замаячил придорожный кабак. Царские питейные заведения (кружала) уже начали плодиться по Руси, выкачивая серебро из карманов проезжих купцов и служилых людей в государеву казну.

Это была длинная, приземистая изба, срубленная из потемневших бревен. Из слюдяных окошек пробивался тусклый, желтый свет, а из трубы валил густой дым.

Мы спешили, привязали коней под грязным навесом коновязи и ввалились внутрь.

В нос ударил плотный, осязаемый запах кислого пива, перегара, квашеной капусты, сырой овчины и давно не мытых человеческих тел. Внутри было не протолкнуться. За грубо сколоченными столами сидели мутные личности: какие-то купчины из Нижнего, пара пьяных стрельцов, ямщики. Стоял гул голосов, мата и звона глиняных кружек.

Мы с Сашкой, грязные, мокрые, обвешанные железом, с короткими пищалями за спиной и тяжелыми взглядами, вошли в этот гвалт. Я скинул с головы мокрый малахай, обнажив спутанные черные волосы. Мои хазарские клинки глухо стукнули по бедру.

Разговоры за ближайшими столами как-то сами собой стихли. Люди шестнадцатого века нутром чуяли тех, кто привык убивать, а мы с Сашкой за последние месяцы провоняли смертью насквозь.

Я подошел к стойке, за которой потел тучный целовальник (кабатчик, поклявшийся не утаивать прибыль). Бросил на залитую пивом доску тяжелую серебряную деньгу.

— Жрать. Горячего. И медовухи кувшин. Да чтоб не разбавленная, а то я тебе эту кружку в глотку забью, — голос мой был хриплым после ветров тракта.

Целовальник быстро смахнул монету и закивал, сверкая лысиной.

Мы заняли угол в тени. Сашка тут же припал к принесенной миске с горячими, жирными щами, черпая их деревянной ложкой так, что за ушами трещало.

Я ел медленно. Боль в боку не давала расслабиться. Я сделал длинный глоток темной, крепкой медовухи. Алкоголь ударил в кровь, немного приглушая огонь в ребрах и снимая тот железный обруч напряжения, который сдавливал мне голову последние месяцы.

И тут к нашему столу подошла она.

Дворовая девка, прислуживающая в кабаке. На вид — лет восемнадцать. Русая коса толщиной в мужское запястье перекинута через высокую, пышную грудь, обтянутую простой льняной рубахой. На щеках — румянец от работы у печи, глаза серые, быстрые, цепкие. От нее пахло не дорожной грязью, а горячим хлебным тестом, березовым веником и какой-то простой, первобытной женской силой.

Она поставила перед нами деревянное блюдо с жареной кабанятиной и не спешила уходить. Ее взгляд скользнул по моему молодому, но жесткому лицу, по шраму на подбородке, по широким плечам. Девки в таких местах знали толк в мужиках. Они видели купцов с золотом, видели старых воевод, но от меня веяло той темной, дикой энергией, которая всегда манила женщин на инстинктивном уровне.

— Чего еще изволите, господин хороший? — певуче спросила она, не опуская глаз и чуть покачнув бедрами. — Может, постелю вам на сеновале? В избе-то вповалку спят, блох кормят. А там тепло, чисто...

Я отставил кружку. Посмотрел на нее. Внутри меня внезапно проснулся не попаданец-интеллектуал, а семнадцатилетний, пышущий тестостероном казак, который последние полгода видел только грязь, снег, кровь и кишки.

Я забыл, когда в последний раз касался чего-то мягкого и живого. Чего-то, что не пыталось меня убить.

Я молча достал из-за пазухи мелкую серебряную чешуйку и положил на край стола, накрыв ее своими изрубцованными пальцами.

— Как звать? — тихо спросил я. Заговор и морок здесь были не нужны. Хватало просто интонации.

— Малуша, — она ловко смахнула монету, и на ее губах появилась сытая, довольная улыбка.

— Показывай дорогу, Малуша.

Я оставил Сашку доедать мясо (он только понимающе усмехнулся в бороду) и пошел за ней.

Сеновал был надстроен над теплой конюшней. Там пахло сухим клевером и лошадиным потом. В темноте, освещаемой лишь лунным светом из щели в крыше, было тихо и поразительно уютно.

Это не была романтика из женских романов. Это была сырая, жадная потребность живой плоти доказать самой себе, что она еще жива.

Когда она скинула с меня тяжелый, провонявший дымом зипун, я глухо зашипел от боли: повязка на простреленном боку присохла к ране.

— Охти мне... — ахнула Малуша, в полумраке нащупав жесткий, багровый струп и корку запекшейся крови. — Да ты ж рубленый весь, казак. Как же ты в седле сидишь?

— Не болтай, — я перехватил ее руки своими жесткими, мозолистыми ладонями, при-тянул ее к себе. — Лечи.

Она оказалась податливой, горячей и удивительно сильной. В ее объятиях, под ее тяжелым, прерывистым дыханием, я на несколько часов перестал быть Фролом Черным, убийцей и колдуном. Я перестал думать о гниющих в снегу татарах, о медленно умирающем в Москве царе и о том, что ход истории висит на волоске.

Я зарывался лицом в ее волосы, чувствуя вкус соли на ее шее. Боль в боку отступила на второй план, растворившись в животном, глухом ритме. Деревянные доски сеновала скрипели, прогоняя прочь холод и смерть, с которыми я спал в обнимку всю зиму.

Утром, когда едва забрезжил серый рассвет, я осторожно, чтобы не разбудить спящую, разметающуюся на соломе Малушу, оделся. Бросил ей на грудь еще одну монету — не за ночь, а просто в благодарность за то, что на миг вернула меня в мир живых. И спустился вниз.

Тракт ждал.

Москва открылась нам на седьмой день пути.

Я читал о ней, рассматривал гравюры в той, прошлой жизни. Но то, что предстало моим глазам, когда мы выехали на возвышенность за Замоскворечьем, заставило меня остановить коня.

Москва середины шестнадцатого века не была похожа на сказочный пряничный городок. Это был гигантский, пульсирующий, грязный мегаполис своего времени.

Представьте себе бескрайнее море деревянных крыш, раскинувшееся на холмах по обоим берегам Москвы-реки. Десятки тысяч дворов, жмущихся друг к другу так тесно, что, кажется, пожару здесь и разгораться не надо — достаточно искры.

Над этим деревянным хаосом возвышались купола церквей. Их было не просто много — их было сотни. Но они не сияли привычным золотом. Золотили тогда редко. Купола были крыты свинцом, деревянным лемехом или просто выкрашены в зеленый и черный цвета.

А в самом центре этого бурлящего котла, за Москвой-рекой, возвышался Кремль. Мону-ментальный, грозный. Его зубчатые стены из красного кирпича, выстроенные итальянскими зодчими еще при деде Ивана Грозного, казались творением инопланетян посреди этой бревенчатой архаики. Башни Кремля еще не имели тех высоких, красивых шатров, к которым вы привыкли по открыткам — они были плоскими, боевыми, суровыми.

Мы спустились с холма и въехали в Замоскворечье.

Здесь навалился звук. Мегаполис орал всеми глотками. Скрипели несмазанные телеги, ругались торговцы, мычали телята, звонили колокола в десятках церквей вразнобой.

В нос ударила вонь. Никакой канализации, естественно, не было. Помои выливали прямо на улицу. Дороги представляли собой гати — уложенные крест-накрест бревна, под которыми хлюпала метровая толща ядовитой, вонючей жижи. Мы ехали медленно, лошади скользили.

Навстречу нам двигалась непрерывная человеческая река. Ремесленники в суконных кафтанах, бабы в платках, нищие с культами вместо рук, потрясаящие язвами. Мимо нас, расталкивая толпу плетью, проскакали боярские холопы, расчищая путь крытой возке своего хозяина. Пару раз я замечал скоморохов в рваных, пестрых рубахах, которые выкрикивали похабные частушки, за что тут же получали зутычины от проходящих мимо стрельцов.

— Матерь Божья... — Сашка крутил головой, придерживая рукой кошель на поясе. Для парня с Дона такое количество народу в одном месте казалось противоестественным. — Тут же плюнуть некуда, чтоб в человека не попасть. Как они тут живут?

— Как блохи на собаке, Александр, — процедил я, стряхивая с плеча шлепок грязи, вылетевший из-под копыта чьей-то телеги. — Греются друг об друга и жрут тех, кто послабее.

Мы пересекли Москву-реку по живому (наплавному) деревянному мосту. Бревна ходили ходуном под копытами.

Вошли в Китай-город — торговый квартал, обнесенный земляным валом и бревенчатой стеной. Здесь пахло иначе. Дорого. Специями, перцем, дегтем, кожей и импортным европейским сукном. Лавки лепились друг к другу, купцы-строгановы и мелкие торгошники тянули покупателей за рукава.

Но над всем этим бурлящим торжищем висела странная, давящая, спертая атмосфера.

Лица москвичей были хмурыми. Люди кучковались на перекрестках, шептались, озираясь по сторонам, а при виде проходящих стрелецких патрулей замолкали и расходились.

Даже воздух казался пропитанным паранойей и ожиданием беды.

Слухи в Москве расходились быстрее чумы. Все уже знали: за стенами неприступного Кремля, в жарких, темных палатах потеет и бредит Государь. Двадцатитрехлетний Иван, только что покоривший Поволжье, умирает.

Но страшно было не это. Цари умирали и раньше. Страшно было то, что шептались о боярах. Знать, почуяв слабину, отказывалась целовать крест «пеленочнику» — царевичу-младенцу Дмитрию. Они хотели посадить на трон удельного князя Владимира Старицкого.

Запахок гражданской войны, той самой, которая выкашивает целые семьи, уже щекотал ноздри. Если Иван умрет — начнется резня за престол, в которой сгорят тысячи.

Мы подъехали к Спасским (тогда еще Фроловским) воротам Кремля. От величия кирпичных башен и глубины рва, выложенного белым камнем, веяло имперской, нечеловеческой тяжестью. Поднятый подъемный мост бдительно охранялся тройным кордоном лучших царских стрельцов, закованных в полированные блестящие доспехи. У них были тяжелые фитильные ружья-пищали и огромные, сверкающие на солнце лезвия бердышей.

Донцы здесь, у ворот, в своих грязных стеганках и обляпанные дорожной жижей, выглядели как бродячие псы перед дворцом лорда.

Начальник караула, высокий, дородный сотник в богатом шелковом кафтане поверх кольчуги, преградил нам путь.

— Чего прете, деревенщина?! — рявкнул он презрительно, брезгливо морщась от запаха наших лошадей. — Сюда хода нет! Проваливайте за Китай-городскую стену!

Сашка вспыхнул и дернулся к сабле, но я остановил его коротким жестом.

Я не стал тратить энергию на морок. С людьми, закованными в систему жесткой субординации, работают другие заклинания.

Я сунул руку за пазуху и вытащил небольшой тубус, в котором лежала грамота, забранная у гонца. Свиток из плотной французской бумаги с тяжелой, свинцово-красной сургучной печатью — личной печатью князя Воротынского, главнокомандующего армией.

Я развернул его и ткнул прямо в холеную морду сотника.

— Читать умеешь, служивый? — тихо, с обманчивой лаской в голосе спросил я. — Или мне тебе вслух прочесть, чьим указом я должен быть доставлен в постельные палаты Государя до захода солнца?

Сотник опустил глаза на печать. Его лицо посерело, а презрительное выражение смыло как весенней мыльной водой. Он знал эту печать. Он знал, что значит неповиновение этому знаку в часы, когда в Кремле делится власть.

— Прости, господин... — пробормотал он, снимая шапку. Окрикнул стражу: — Пропустить! Срочное, государево дело!

Тяжелые кованые ворота со скрипом подались внутрь. Из черного зева арки повеяло сыростью и холодом каменных стен.

Я пустил коня в шаг.

Мы въезжали в самое сердце Русского царства. В место, где интриги, яд и кинжал решали судьбы миллионов. В гнилое ядро, из которого вот-вот должен был родиться главный тиран русской истории.

И этому тирану прямо сейчас был нужен хороший лекарь.

Кремль изнутри оказался вовсе не тем белокаменным величием, что рисовалось снаружи. Точнее, величие было, но оно тонуло в непроязной, совершенно обыденной грязи.

Дворцы и соборы жались друг к другу, перемежаясь деревянными клетями, мыльнями, конюшнями и бесконечными заборами. Пахло не ладаном и властью, а конским навозом, прокисшей брагой из боярских погребов и страхом. Воздух здесь был спертый, стоячий.

Сашку я оставил вместе с лошадьми у Постельного крыльца — дальше его бы не пустили ни с грамотой, ни с саблей наголо.

— Держи ухо остро, Александр, — шепнул я ему на прощание. — Тут если улыбаются — значит, мерку для гроба снимают. Чуть что не так — прыгай в седло и на Дон. Без меня.

Сашка нахмурился, кивнул, положив руку на пистоль за кушаком.

Меня подхватили под руки двое рынд (государевых телохранителей) в ослепительно белых, нерасшитых кафтанах и повели внутрь Теремного дворца.

Ступени, переходы, низкие сводчатые потолки. Везде стояли вооруженные люди, полумрак освещался чадающими сальными свечами. У дверей толпились бояре — в дорогих, тяжелых шубах, несмотря на спертую духоту каменных палат. Они о чем-то яростно перешептывались, сбившись в кучки, как гиены вокруг подыхающего льва. Когда рынды проводили меня мимо, шепотки стихали. Их взгляды, холодные, оценивающие, скользили по моей грязной казацкой одежде. Никто не видел во мне спасителя. Они видели во мне очередного шарлатана, который оттянет неизбежный конец их Государя. А многим этот конец был зело выгоден.

Наконец меня втолкнули в небольшую, жарко натопленную палату-предбанник перед царской опочивальней.

Здесь было не продохнуть. В воздухе висела густая смесь запахов: мирра, жженный ладан, уксус, толченые травы и тяжелый, сладковатый дух гниющей плоти.

У массивной дубовой двери, ведущей к покоям Ивана, стоял высокий, костлявый поп в богатой рясе. Его лицо напоминало высохшее яблоко, а глаза горели фанатичным, фарисейским огнем. Рядом с ним сустились несколько стариков-лекарей в долгополых халатах — греки или немцы на московской службе, судя по испуганным, помятым лицам.

— Кого притащили? — пронзительно каркнул поп, преграждая мне дорогу. — Какого лешего в государевы палаты пускаете, дурни?!

Рында, стоявший справа, почтительно склонил голову:

— По указу князя Воротынского, владыко. Сказывают, знаткий лекарь с Дона. Шуйского князя с того света вытащил.

Поп прищурился, оглядывая меня с безгливостью, от макушки до грязных сапог.

— Знаткий? Колдун, видать! — выплюнул он, осеняя себя крестным знаменiem. — Смердит от него серой! Не пушу бесоугодника к помазаннику Божьему! Царь-батюшка к смерти готовится, мы уж его соборовали, причащать готовимся! Душу спасти надо, а вы тело гниющее идольскими бесами тешить удумали!

Один из лекарей, старичок с козлиной бородкой, мелко закивал, поддакивая:

— Истинно так... Пульс ничтожен, жар съел мозги. Кровь пускали трижды, пиявок ставили — не помогает. *Humor melancholicus* (черная желчь) победила...

Кровь пускали умирающему от инфекции (или вируса) и обезвоживания больному. Пиявок ставили.

Это был финиш. Вы, современные люди, даже представить себе не можете, с каким желанием я в тот момент захотел выхватить клинок и перерезать им глотки за такую «медицину».

Я шагнул к попу. Мой рост и ширина плеч позволили мне нависнуть над ним.

— Ты, святой отец, о душе заботься, а тело оставь тем, кто в нем понимает, — процедил я сквозь зубы.

Поп взвизгнул:

— Стража! Взять смерда! На костер ирода!

Рынды замаялись. Они получили приказ провести меня, но пойти против высшего духовенства в палатах умирающего царя — это верный путь на плаху при любой власти.

«Ну что ж, — подумал я, чувствуя, как внутри закипает та самая черная, густая энергия. — Вы сами напросились. Гуманизм закончился на Дону».

Я не стал бить его по лицу. Я ударил по разуму.

Я собрал морок в тугой, ледяной шип. Не отвод глаз. Я ударил его Ужасом. Тем самым первобытным концентрированным страхом, который заставлял останавливаться стада сайгаков и сводил с ума конницу.

Я впился взглядом в эти фанатичные глаза-бусинки и транслировал только одну мысль: Я — Смерть. И если ты не отойдешь, я сожру твою душу прямо здесь.

Реальность вокруг нас дрогнула. Воздух в палате словно выморозило. Лекари-иностранцы попятились, не понимая, что происходит, но чувствуя животный, безотчетный страх.

Лицо попа исказилось. Его нижняя челюсть отпала, обнажив гнилые пеньки зубов. Он попытался поднять руку для крестного знамения, но пальцы отказались слушаться. Из его горла вырвался невнятный хрип. Колени его подогнулись, и он, путаясь в богатой рясе, грузно осел на каменный пол, пуская слюни на расшитый золотом воротник. Он не потерял сознание, он просто сломался под тяжестью чужого, превосходящего ментального веса.

Я моргнул, обрывая контакт. Перешагнул через скулящего священнослужителя, толкнул тяжелую дубовую дверь плечом и вошел в царскую спальню.

Глава 3. Сделка с психопатом: Палата №6

Опочивальня Ивана Васильевича напоминала склеп. Окна были плотно зашторены тяжелыми тканями, не пропуская весенний свет. Жар стоял невыносимый — топились две огромные изразцовые печи. Духота была такой, что у меня перехватило дыхание.

По углам горели массивные восковые свечи, отбрасывая дергающиеся тени на расписные своды.

В центре стояла огромная кровать под парчовым балдахином. А на ней лежал тот, чье имя через несколько лет заставит содрогаться всю Европу. Но сейчас он не вызывал ничего, кроме профессиональной врачебной жалости.

Ивану было двадцать три года. Но на постели метался изможденный, седой старик. Его тело, укрытое несколькими медвежьими шкурами, была крупная, непрерывная дрожь. Рубаха на груди была распахнута, кожа имела желтушно-серый оттенок и лоснилась от липкого пота. Длинные рыжеватые волосы спутались, губы потрескались до крови.

Он бредил. Из его рта вырывалось бессвязное, сиплое бормотание, в котором мешались молитвы, угрозы боярам и какие-то детские страхи.

Я быстро подошел к кровати, скидывая на ходу свой тулуп.

— Всем вон, — бросил я через плечо двум слугам-спальникам, которые жались в углу с тазиками. Те не заставили себя повторять и испарились быстрее, чем догорела спичка.

Я остался один на один с тираном.

Приложил руку к его лбу и тут же отдернул. Температура была запредельной. За сорок градусов. Организм не просто боролся с инфекцией — он варил сам себя заживо. При такой температуре белки в крови начинают сворачиваться, а мозг получает необратимые повреждения.

Диагноз «огненная горячка» в 16 веке мог означать что угодно: от жесточайшего гриппа до энцефалита или тифа. Но сейчас мне было плевать на название патогена. Мне нужно было сбить кризис.

Началась реанимация по стандартам Дикого Поля, приправленная знаниями 21 века.

Я подскочил к окнам и рывком сорвал тяжелые шторы. Ударом кулака выбил слюдяную раму. В спертую, отравленную палату ворвался холодный, колкий мартовский ветер.

Затем я сбросил с царя все эти медвежьи шкуры и пуховики. Оставил его в одной мокрой рубахе.

Он застонал, попытался свернуться в клубок от хлынувшего холода, но я жестко прижал его к кровати.

Подбежал к тазам с водой, которые оставили слуги. Слава Богу, вода была холодная, принесенная для питья. Я выхватил кинжал, распорол чистую холстину, лежавшую на сундуке, обильно смочил ее в воде и начал методично, сильно растирать тело Ивана. Лоб, шею, подмышки, пах — места, где крупные артерии проходят близко к коже. Физическое охлаждение — единственный способ сбить такой жар без антипиретиков.

Он начал биться в моих руках. Его глаза, выкатившиеся, налитые кровью, они (вдруг) сфокусировались на мне. Но он видел не меня. Он видел демона из своего бреда.

— Изыди... Изыди, Сильвестр... — захрипел царь, пытаясь вырвать руку. Хватка у него, несмотря на болезнь, была мертвой. — Володьке крест не целуют... Псы! Всех на кол... Анастасия...

Его нервная система ломалась у меня на глазах. Психоз, вызванный лихорадкой и стрессом от измены ближнего круга (бояр, которые прямо сейчас за стеной делили трон, не желая присягать его маленькому сыну), выжигал его разум подчистую. Если он выживет после этого, в его голове навсегда останется эта паранойя.

И я понял, что холодной воды мало. Нужно лезть туда, куда нормальные люди не ходят без смиренной рубашки и галоперидола.

Я навалился на царя грудью, придавив его к постели, взял его лицо в свои ледяные, мокрые ладони и ударил эмпатией.

Я не использовал морок для отвода глаз или ужаса. Я попытался пробиться в его сознание, чтобы сыграть роль химического снотворного.

Когда мой разум соприкоснулся с его... я едва не закричал.

Это было похоже на то, как если бы я сунул голову в топку паровоза, в которой вместо угля сжигали живых людей. В голове Грозного не было мыслей. Там был сплошной, визжащий, параноидальный вихрь. Я видел обрывки его детства — ненависть к боярам Шуйским, которые морили его голодом; я видел его страх за любимую жену Анастасию; я видел кровь Казани. И над всем этим нависала черная, бездонная подозрительность.

«Убьют. Предадут. Отрапят. Все».

Я стиснул зубы. Моя собственная энергетика затрещала по швам. Управлять мозгом тирана-психопата в состоянии острого бреда было сложнее, чем удерживать кровь в разорванной артерии.

Я собрал свою волю в ледяной, тяжелый пресс и начал методично давить эту горячую бурю.

«Спи. Ты в безопасности. Трона не отдам. Спи», — монотонно, как метроном, вдалбливал я свою установку в его горящий мозг. Я гасил очаги возбуждения в коре его воспаленного мозга силой своей «бесовщины».

Это была борьба на истощение. Мой нос снова начал кровоточить. Капли моей крови, по иронии судьбы заговоренной на исцеление Архипом, падали прямо на лицо Великого Князя, смешиваясь с его потом.

Но он начал сдаваться.

Его дыхание, бывшее рваным и поверхностным, стало выравниваться. Мышцы, сведенные судорогой, расслаблялись. Глаза закатились, веки тяжело опустились.

Я держал этот ментальный тормоз еще около часа, одновременно продолжая обтирать его мокрой тканью. Холодный воздух из выбитого окна выстуживал палату, сбивая общий фон.

Наконец, когда жар начал явственно спадать под рукой (градусов до тридцати восьми, по моим ощущениям), я отвалился от кровати.

Я сполз на пол, прислонившись спиной к расписной стене, и вытянул ноги. Мое тело трясло. Голова раскалывалась, левое предплечье, вспоротое на Волге, и недавняя рана в боку ныли в унисон. Я был опустошен, словно из меня выкачали всю воду.

Но на кровати мирно, глубоко и ровно спал человек. Не бредил, не метался. Сон — лучший лекарь при интоксикации.

Я сидел на каменном полу царской спальни, вытирая кровь из носа грязным рукавом, и горько усмехался.

Я спас его. Я спас Ивана Грозного. Мучителя, тирана и создателя одного из самых страшных государств в истории. Я сохранил этого монстра для учебников.

Но я сделал это не из любви к Отечеству. Я сделал это потому, что мне нужен был должник. Должник, который носит шапку Мономаха.

А долги свои Фрол Черный взыскивать умел.

Я просидел на полу царской опочивальни до самого позднего вечера. Никто не смел войти. Слухи о попе, который сбрендил у дверей только от моего взгляда, надежно заперли эту палату лучше любых засовов.

Печи понемногу остывали. Сквозь выбитое слюдяное окно тянуло сыростью Москвы-реки, но для больного легкий сквозняк был сейчас полезнее удушливых каминов.

Часам к десяти вечера Иван зашевелился.

Сначала он просто глубоко вздохнул, шурша простынями. Затем медленно, с усилием открыл глаза. В них больше не было того мутного, бешеного огня. Только бездонная, выпивающая душу усталость человека, который только что вернулся с левого берега реки Стикс.

Он обвел взглядом палату. Посмотрел на разбитое окно, на сброшенные на пол медвежьи шкуры. А затем скосил глаза вниз, где в полумраке, привалившись спиной к стене, сидел я.

Я не стал вскакивать или падать ниц. Моих сил едва хватало на то, чтобы держать веки открытыми. Я просто смотрел на него.

— Ты кто таков будешь? — голос царя был слабым, скрипучим, как ржавая петля, но разум в нем уже присутствовал полностью. — И почто смердишь в моих палатах?

— Я тот, кто не дал тебе сгнить в собственных дерьме, Государь, — ровно ответил я. Попытка нагнать пиетета сейчас была бы воспринята им как слабость. Грозный уважал только силу, желательно — грубую. — Фрол Черный. С Дона. Ты меня в Свияжске видел, когда я Шуйскому ногу зашивал.

Иван нахмурился. Воспоминания пробивались сквозь туман болезни с трудом. Но его феноменальная память в итоге сработала.

— Черный... Знаткий казак. Тот, что зелье варит, — он попытался приподняться на локтях, но со стоном упал обратно на подушки. — Где лекари мои? Сильвестр где? Почему ты один?

— Лекари твои тебя крови лишали, чтоб ты помер скорее, — я медленно поднялся, опираясь руками о колени, и подошел ближе к кровати. — А попы уже кадилами махали, отпевали. Не до тебя им сейчас, Государь.

— Не до меня? — в выпавших глазах Ивана мелькнула искра старой, недоброй ярости. Паранойя, которую я вчера так тяжело давил, мгновенно подняла голову. — А до чего им?

Я чуть склонился над ним, понизив голос до шепота заговорщика.

— До делянки. Пока ты тут с чертями боролся, твои бояре в соседней палате крест целовать царевичу Дмитрию отказывались. Удельного Володьку Старицкого на трон мылят. А тебя уже списывают как товар лежалый из-за горячки.

Слова упали точно в цель.

Это был тот самый крючок, на который я собирался поймать его величество. Иван терпеть не мог измены. А измена ближнего круга в момент его слабости стала для него тем самым переломным моментом, после которого он перестанет доверять даже собственной тени.

Лицо царя побледнело еще сильнее, но теперь уже не от болезни, а от бешенства. Тонкие, потрескавшиеся губы сжались в нитку.

— Собаки... Псы смердящие... — прохрипел он, вцепившись тонкими пальцами в простыню. — Я их всех до десятого колена... На кол. В кипяток.

Он вдруг закашлялся, задыхаясь. Я быстро налил в серебряный кубок свежей воды и поднес к его губам. Он выпил жадно, проливая на подбородок.

— Ты спас меня, казак, — сказал Иван, отдышавшись, и посмотрел на меня уже иначе. Не как на дерзкого лекаря, а как на инструмент. Как на оружие. — Почто? Серебра хочешь? Али чина боярского?

Я усмехнулся. Иронично. Боярский чин в эпоху, когда начинается Опричнина, — это прямой билет на плаху.

— Серебро я и сам добуду, Государь. А чины ваши московские мне без надобности. У нас на Дону чин один — сабля острая да зелье сухое.

— Тогда чего тебе надобно, раз ты от смерти меня отговорил? — прищурился царь. — Служи мне. Будешь моим личным докой. В золоте ходить станешь. Со мной в палатах сидеть. Кто криво посмотрит — тебе на пытку отдам. Бери, я щедр к тем, кто верен.

Предложение было в духе времени. Стать серым кардиналом при психопате, личным палачом и лекарем? Искушение для любого попаданца.

Но я знал психологию этого человека лучше, чем кто-либо из его современников. Сегодня он осыпет тебя золотом, завтра ему покажется, что ты слишком много знаешь, и он сварит тебя в котле. В золотой клетке волки не плодятся. Они там становятся пуделями.

Я отступил на шаг от кровати, выпрямился во весь свой рост. В полумраке палаты, перемазанный сажей и кровью, со своими хазарскими ножами за спиной, я выглядел как демон из тех самых сказок, которых Иван так боялся.

— Я вольный человек, Иван Васильевич, — твердо, веско ответил я. — И служить тебе в холопах не стану. Я не дворовый пес, чтоб на цепи сидеть у трона.

Глаза царя расширились от такой наглости. Он попытался крикнуть стражу, но я снова, уже мягко, но непреодолимо, накинуд на него морок своей воли. Не ужас, а тугое, парализующее спокойствие.

— Не кричи, царь. Выслушай. У тебя здесь, в Москве, каждый второй друг — предатель. У тебя под боком — воеводы, которые спят и видят твой конец. А там, на юге, есть Дикое Поле. И там есть мы — донцы. Мы не плетем интриг. Мы режем тех, кто идет на Русь.

Я вложил в следующие слова всю силу своего убеждения.

— Мне не нужна твоя должность лекаря. Мне нужен статус для моего войска. Ты дашь мне Грамоту. Тайную грамоту с твоей личной, черной печатью. По этой грамоте Фрол Черный и его ватага подчиняются только тебе лично. Ни воеводам, ни дьякам разрядным, ни боярам. Только тебе.

Иван слушал, затаив дыхание под моим гипнотическим давлением. Мозг политика в нем боролся с уязвленным самолюбием самодержца.

— Мы будем твоим южным щитом, — продолжал я. — Мы будем жечь ногайцев и крымчаков до того, как они дойдут до твоих границ. Мы будем испытывать новые пороха и новые пули. Не прося у тебя ни хлеба, ни людей. Ты получишь лучшую армию на границе бесплатно. А я получу не-за-ви-си-мость от твоих зажавшихся дьяков.

Я замолчал, убирая морок. Оставил его один на один с его собственными мыслями.

Холодный ветер с Москвы-реки задувал в разбитое окно, играя пламенем свечей.

Иван долго смотрел в потолок. В его голове шел сложный процесс. С одной стороны — наглый смерд, которого нужно казнить. С другой — этот смерд только что остановил его смерть голыми руками, когда вся остальная Москва уже делила его портки. И этот смерд предлагает ему верных, смертоносных псов там, где царская власть пока еще номинальна.

— Дерзок еси... зело дерзок, — наконец прошелестел царь, и на его бледных губах появилась кривая, нездоровая улыбка. Улыбка человека, который нашел единомышленника-хищника. — Токмо я чую: не брешешь. Не боярская в тебе порода. Волчья.

Он слегка кивнул головой.

— Подай пергамент. Вон там, на столе. И чернильницу.

Я подал.

Двадцатитрехлетний Иван Грозный, трясущимися от слабости руками, при свете толстой восковой свечи, начал писать. Я не заглядывал через плечо. Я ждал.

Когда скрип пера стих, царь снял с пальца тяжелый перстень-печатку. Не ту, государственную, с двуглавым орлом. Другую. С изображением единорога (символ, который он потом сделает своей личной эмблемой). Он накапал на свиток черного сургуча, который я подогрел над свечой, и вдавил перстень.

— На, — он бросил свернутый пергамент на одеяло. — Это твоя воля, Фрол Черный. Опричь судов боярских и воеводских. Токмо помни: ежели ты там, на Дону, свое княжество удумаешь лепить... Я тебя из-под земли достану. И кровь твою заговоренную по капле вышежу.

Я взял свиток. Он обжигал руку, как уголек, хотя сургуч уже остыл. Это была не просто охранная грамота. Это была моя лицензия на создание своей частной военной компании в шестнадцатом веке.

— Не удумаю, царь-батюшка, — я спрятал грамоту за пазуху. — Мне чужого не надо. Мое Поле — степь. Отдыхай. Завтра к тебе твои бояре придут. Будет кому головы рубить.

Я поклонился — на этот раз коротко, но уважительно, как воин воину — и направился к выходу.

В палате-предбаннике было тихо. Попа нигде не было. Иностранцы жались по стенам, не смея поднять на меня глаз.

Рынды у дверей вытянулись в струнку, когда я толкнул створку.

Я прошел мимо них, чувствуя, как с каждым шагом мое тело наливается свинцом от чудовищного истощения последних дней. Но внутри меня билась холодная, торжествующая радость.

Я обыграл смерть. Я обыграл историю. Я заключил пакт с Дьяволом на его же территории.

Когда я вышел на Постельное крыльцо, Сашка, дремавший в седле под дождем, встрепенулся.

— Фрол Ермолаич... Ну как? — с надеждой спросил он, оглядывая меня с ног до головы, словно проверяя, не дымится ли на мне одежда.

Я молча подошел к своему коню, взялся за переднюю луку седла. Ноги предательски подкосились. Сашка подхватил меня, помогая забраться в седло.

— Жив царь. И долго гнить будет, — морщась от боли в боку, прошептал я. — Разворачивай коней, Александр. Мы едем домой. Мы едем строить свой Железный Дон.

Москва оставалась позади — грязная, интригующая, пахнувшая грядущей кровью Опричнины. Наш путь лежал на юг. Туда, где ветер пахнет ковылем, и где мне больше не нужно будет оглядываться на боярские спины.

Глава 4. Нижний Дон

От Москвы до Дона мы добирались долго. Распутица сменилась пыльным, душным маем тысяча пятьсот пятьдесят четвертого года. Моя рана в боку за это время окончательно затянулась, оставив уродливый, багровый шрам размером с кулак, но внутри больше ничего не болело. Тело молодого волка, подстегиваемое заговором Архипа, взяло свое.

Мы въезжали в наш казачий городок под звон колокола деревянной часовенки.

Год назад мы уходили отсюда зеленой, хоть и вооруженной до зубов сотней. Вернулись — потрепанными, пропахшими порохом и татарской кровью ветеранами. Из ста человек, ушедших под Свияжск, обратно по степному шляху ехало не больше сорока. Остальные легли в проломах Арской башни или замерзли в лесных засадах, прикрывая отход.

Зато мы привели с собой обоз. Двадцать телег, тяжело груженных московским свинцом, медью, инструментами и — самое главное — трофейными татарскими пушками, отбитыми в Казани. Это была плата за пролом стены и за мое тихое, ночное «лекарство» царю.

Майдан встретил нас гулом. Бабы были, не находя своих мужиков в строю, старики хмуро крестились.

Батя, Ермолай, стоял у нашего куреня. Он сдал, поседел, но плечи держал прямо. Рядом с ним, кутаясь в цветастый персидский платок, стояла мать. В глазах Ширин не было слез — она видела в своей жизни слишком много смертей, чтобы плакать на людях. Она просто смотрела на меня, возвращающегося живым, и ее темные глаза светились гордостью.

Я спешил, бросил поводья подскочившему малыцу и подошел к отцу.

— Здорово ночевали, батя, — хрипло сказал я, стягивая запыленный малахай.

Ермолай тяжело вздохнул, оглядывая мой простреленный, залатанный зипун и жесткие, недетские морщины, прорезавшиеся у рта. Ему показалось, что передо ним стоит не его восемнадцатилетний сын, а древний, усталый демон степи, вернувшийся с кровавой жатвы.

— Слава Богу, живы, Фролка, — он обнял меня, сжав так, что захрустели ребра. От него пахло дегтем, табаком и родным домом. — Царь-то как? Отпустил с миром?

— Царь теперь нам должен, батя, — ответил я, отстраняясь.

Я вытащил из-за пазухи тугую кожу, в которую был завернут московский свиток с черной сургучной печатью Единорога. Развернул его на глазах у подошедшего тысяцкого Степана и стариков.

В городке повисла тишина. Никто из них не умел бегло читать церковнославянскую вязь дьяков, но черную печать Ивана Грозного знали все. Это был символ абсолютной, неприкасаемой власти.

— Отныне мы не подчиняемся астраханским или рязанским воеводам, — громко, так, чтобы слышал весь майдан, произнес я. — Мы подчиняемся только лично Государю. И налог кровью мы уже уплатили сполна в Казани. Здесь, на Нижнем Дону, больше не будет боярского суда. Мы строим свою крепость.

Степан, тяжело опираясь на посох, подошел ближе, вглядываясь в сургуч.

— И чаво в той грамоте, Фрол Ермолаич, прописано? — настороженно спросил старый тысяцкий. Он понимал, что мальчишка, которого он взял с собой варить зелье, вернулся хозяином положения.

— Прописано, что мы вольны торговать, где хотим, лить пули свои и ставить остроги по своему разумению, покуда татар бьем, — я свернул грамоту и сунул обратно. — И мы начнем ставить острог прямо завтра.

На следующий день жизнь городка изменилась до неузнаваемости.

Я не собирался больше жить в мазанках за хлипким плетнем. Я видел, как Эразм проектировал Свияжск. Я знал основы фортификации 16—17 веков (итальянскую систему бастионов), позволявшие выдерживать осады любой конницы и артиллерии того времени.

Я собрал всех мужиков на майдане и прямо на песке начертил план нового города.

— Плетень снесем к лешему, — рубил я рукой воздух. — Выроем ров. Глубокий, сажени в две. А землю из рва кинем не просто валом. Выстроим бастионы — земляные звезды, выступающие вперед. Чтобы с них можно было бить из пушек вдоль стен. Если татарин полезет на стену — мы его перекрестным огнем в фарш искрошим.

Старики ворчали, что это дурная, не казачья работа — в земле ковыряться, как кроты (эту фразу я уже слышал от Эразма). Казаку пристало в седле сидеть. Но мой отряд пластунов — те самые тридцать отморозков, выживших в Арских лесах под моим началом, — встал за моей спиной стеной.

Ермак, поигрывая тяжелой лопатой, ухмыльнулся в рыжую бороду:

— Кто не хочет копать — может подождать, пока ногайцы придут и баб ваших в арканах уведут. Фрол дело гутарит. Мы в Казани земляными горами каменные стены валяли.

Работа закипела.

За полгода, с весны до глубокой осени тысяча пятьсот пятьдесят четвертого, мы превратили наш городок в неприступный бастион. Земляные валы, укрепленные изнутри дубовыми срубами (тарасами), засыпанными камнем и глиной, поднялись на высоту трех человеческих ростов. Ров залили водой из Дона по прорытому каналу.

На выступающих мысах-бастионах мы установили отбитые в Казани татарские тюфяки (пушки, стреляющие картечью) и пару тяжелых московских пищалей.

Но главным моим детищем стало не это. Главным стал порох и пули.

Я организовал первую на Дону мануфактуру закрытого типа. Несколько землянок на отшибе, обнесенных отдельным частоколом и охраняемых моими пластунами круглосуточно.

В одной землянке бабы и подростки (которым я платил серебром) толкли селитру и серу. Во второй — гнали первач. В третьей, куда имел доступ только я, Сашка, Митька и еще пара проверенных парней, мы мешали спиртовое тесто и гранулировали «громовое зелье».

Мы забивали бочонки зерненным порохом и прятали их в глубоких, сухих погребах, вырытых под новыми бастионами. Это был наш стратегический резерв. Ни один дождь, ни один туман не мог теперь оставить нас безоружными.

А в кузне день и ночь пылал горн.

Я заставил кузнецов отлить десятки специальных клещей-форм (пулелеек). И мы начали массовую отливку тех самых конических «юбочных» пуль, пробивающих щиты навывлет.

Степан, глядя на эти приготовления, лишь качал головой:

— Ты, Фролка, словно к Концу Света готовишься. У нас отродясь столько зелья не было. Куды нам его? Торговать же не велишь.

— Не к Концу Света, дядька Степан. К ногайцам, — мрачно отвечал я, проверяя замок очередного ружья. — Они прослышали, что мы с Казани с обозами вернулись. Прослышали, что мы богатеем. Они придут. И это будет не мелкий набег за ясырем. Это будет орда.

Моя «чуйка», обостренная до предела трансляциями из Москвы и кровью в лесах, не обманывала. Дикое Поле не прощает тех, кто поднимает голову слишком высоко. Крымский хан Девлет Гирей уже точил зубы на новые русские приобретения, а местным мурзам наш утыканный пушками бастион был как бельмо на глазу.

Но пока орда собиралась с силами, у меня появилось время для другого.

Я сидел вечером на крыше нового, крепкого дубового куреня, который мы срубили с отцом, и правил брусом свои хазарские клинки.

Мои пластуны не сидели без дела. Элита. «Ночные тени». Я гонял их до седьмого пота, обучая всему, что впитывал сам эти годы. Ножевой бой вслепую. Скрытное передвижение в плавнях. Эмпатическая связь в двойках — когда бойцы чувствуют напряжение друг друга спиной, без слов.

Я не учил их магии — «заговор на кровь» или прямой морок передать было невозможно, это требовало другой генетики или того странного резонанса, который пришел со мной из другой жизни. Но я учил их использовать страх врага против него самого.

Сашка подошел бесшумно, как кошка (моя школа), и присел рядом на камышовый скат крыши.

— Фрол Ермолаич, — тихо позвал он. — Там это... Серый пришел.

Мое сердце пропустило удар.

Я отложил клинки, быстро спустился по приставной лестнице.

Старый волк не подходил к городку уже почти год. Он стал слишком стар для охоты, а моя эмпатическая связь с ним в последнее время давала лишь слабые, мутные отголоски, словно радиостанция садилась.

Я вышел за новые ворота городка. Сумерки укрывали степь серой дымкой.

Серый лежал на редкой, выжженной августовским солнцем траве, шагах в пятидесяти от рва. Один. Без своей молодой стаи.

Он не поднял головы, когда я подошел. Его дыхание было хриплым, прерывистым, ребра выпирали сквозь свалившуюся, седую шерсть. Желтые глаза, когда-то полыхавшие первобытным огнем, теперь смотрели тускло, подернутые бельмом.

Я опустил перед ним на колени, не заботясь о том, что пачкаю дорогие сапоги в пыли. Положил ладонь на его жесткий, худой загривок.

Хищник, с которым я делил свою юность, свои секреты и свою первую кровь татар, медленно умирал. Не от пули чужака. От старости.

Я закрыл глаза, собираясь толкнуть в него «заговор на кровь», попытаться разогнать его старое сердце, снять боль, дать ему еще немного времени.

Но вдруг я почувствовал легкий, почти физический толчок в свой собственный разум. Не мой морок. Его.

Серый, из последних сил, пробивал барьер в обратную сторону.

«Не надо», — этот образ не был оформлен в слова. Это было ощущение спокойного, ледяного принятия неизбежного. Звери не боятся смерти так, как люди. Они знают ее место в круговороте степи.

А затем он показал мне нечто другое.

В мой мозг ворвался чужой, мощный образ. Запах тысяч немых тел. Пыль, закрывающая солнце. Бесконечное море коней, топчущих ковыль. Металлический лязг сотен сабель.

И всё это надвигалось с юга. От Азова. От Крыма.

Серый, лежа у моего городка, отдал мне свой последний, самый ценный дар. Свое звериное, предсмертное чутье. Дальнобойный радар, уловивший приближение катастрофы.

Орда шла. Огромная. Не за ясырем. Они шли стирать нас с лица Дикого Поля.

Я открыл глаза. Серый тяжело, судорожно вздохнул, его грудная клетка поднялась в последний раз и замерла. Желтые глаза остановились, глядя куда-то сквозь меня, в звездное небо.

Осколок моей человечности — той самой, из двадцать первого века — треснул и осыпался прахом на мертвую, сухую донскую землю. Вместо слез в горле встал жесткий, металлический ком контролируемой ярости.

Я встал. Посмотрел на юг, туда, где за горизонтом сгущалась тьма.

Сашка стоял у ворот, не подходя близко. Он чувствовал колебания моего дара.

— Александр, — мой голос прозвучал так глухо и мертво, что казак непроизвольно поежился. — Поднимай Степана. Бей в большое било. Загоняйте баб и скот в цитадель. Закрывайте ров.

Сашка побледнел.

— Али татары, Фрол Ермолаич? Дозоры молчали...

— В пизду дозоры. Это не татары. Это вся степь идет. Орда. Выдайте пластунам бочонки с зельем. Будем минировать подступы.

Я развернулся и ушел в городок, даже не оглянувшись на мертвого друга. Оплакивать мертвых будем потом. Сейчас нужно было сделать так, чтобы живые ордынцы позавидовали тем, кто уже лежит в земле.

Утро накатило на Дикое Поле не рассветом, а тяжелой, душной гарью, которую гнал южный ветер.

Городок не спал. Гудел, как растревоженный улей, но в этом гуле не было паники. За полгода я вдолбил в донцов понимание, что наши новые земляные бастионы и ров — это не плетень, за который можно спрятаться. Это машина для перемалывания мяса, и каждый казак в ней — шестеренка.

Я стоял на самом высоком, южном бастионе, облокотившись на теплый ствол трофейного казанского тюфяка. Внизу, в свежевырытом рву, уже стояла мутная донская вода.

Рядом тяжело дышал тысяцкий Степан. Он уже надел свой кованый бахтерец и поправил широкую саблю. Старик выглядел мрачным, но собранным.

— Чего ж их дозоры-то наши не упредили, Фрол Ермолаич? — проскрипел он, вглядываясь в сизую дымку на горизонте. — Савельич с десятком к Черкасску ушел три дня как... Ни слуху, ни духу. В воду канули?

— Не в воду, дядька Степан. В землю, — я сжал зубы так, что желваки заходили ходуном. — Их перебили до того, как они успели разжечь сигнальные костры. Орда идет не растрепанной лавой, как обычно. Они идут крыльями, вырезая на маршруте всё живое. Идут по-взрослому.

Степан хмуро покосился на меня:

— Ежели б не твой... волк, мы б их токмо под самыми стенами срисовали.

Я не ответил. Смерть Серого оставила во мне пустоту, которую я начал стремительно заполнять черной, холодной яростью. Я не просто ждал врага. Я хотел, чтобы он пришел быстрее.

Где-то часам к десяти утра дымка на горизонте начала сгущаться, превращаясь в сплошную, бурую тучу. Земля под ногами — я чувствовал это подошвами сапог сквозь земляной вал — мелко, мелко задрожала.

Это не был звук. Это была вибрация тысяч конских копыт, переходящая в монотонный, давящий на психику гул.

А затем из-за складок рельефа выплеснулась Орда.

Вы, видевшие массовые сцены во «Властелине колец», наверное, думаете, что стоите на стене и смотрите на аккуратные квадратики войск. В реальности шестнадцатого века Орда — это хаос. Это река из людей и лошадей, которая заполняет всё видимое пространство от горизонта до горизонта.

Тысячи. Десятки тысяч всадников. Ногайцы, крымчаки ушедшие в набег с мурзами, остатки казанских недобитков, жаждущие мести за прошлогодний штурм. Над этим морем покачивались десятки конских хвостов-бунчуков на высоких древках.

Степан шумно сглотнул.

— Матерь Божья... Да их тут тыщ пятнадцать, не мене. Нас-то всего сабель пятьсот боевых, да бабы с пацанвой. Сметут, Фролка. Просто массой задавят, рвы трупами завалят и по ним пройдут.

— Не сметут, — мой голос прозвучал так ровно и мертво, что несколько молодых казаков, стоявших у соседней пищади, вздрогнули и посмотрев на меня перекрестились.

Я повернулся к Сашке, который стоял чуть позади с моим отрядом пластунов. Тридцать человек, вооруженных лучше, чем любой царский полк: у каждого по длинноствольной пищади, переделанной под мой зерненный порох, и по два десятка тяжелых конических пуль-«минье».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.